

Е. Иванова

Поэт и его образ

Среди поэтов русского символизма Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) никак не может быть назван забытым — ведь только у него и Блока из поэтов Серебряного века есть вышедшие в советский период собрания сочинений, ряд изданий отдельными сборниками. Жизнь и творчество Брюсова нельзя отнести к числу «белых пятен» — среди литературоведов существует даже такая специализация — «брюсовед», стараниями которых немало написано о разнообразных достижениях Брюсова — автора стихов, прозы, одного из талантливейших литературных критиков начала века, переводчика, редактора, издателя, историка литературы и стиховеда.

Но именно Брюсов, получивший дань уважения, является среди символистов и наименее любимым — между ним и читателем всегда сохраняется некоторая дистанция, создающая отчуждение. Насколько легко Брюсовым восхищаться, настолько же тяжело полюбить, прежде всего потому, что его читателю непросто отыскать путь к личности поэта, приобщиться к тому, чем он жил. Образ поэта изменчив и неуловим — то это упоенный собственной славой Ассаргадон или другой схожий с ним «любимец веков», то нежный Орфей, тщетно пытающийся удержать ускользающую тень Эвридики, то приносящий в дар богам свою любовь к Ариадне Тезей. Читая стихи Брюсова, не сразу удается понять, чем мучился, жил и страдал человек, всерьез писавший в предисловии к своему первому, по собственной оценке, не слишком совершенному, сборнику стихов «Chefs d'oeuvre» («Шедевры», 1895): «...не современникам, и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству».

Личность Брюсова являлась загадкой для многих его современников, даже из числа людей близких ему. Поэт, настойчиво повторявший, что живет для вечности и славы, меньше всего заботился о том, чтобы понравиться окружающим, объяснить внутренние мотивы своего поведения. Он не любил исповедоваться и, добиваясь читательского поклонения, человеческого участия и сочувствия не хотел. Может быть, это и есть главная причина, по которой все то, что мы находим в воспоминаниях, дневниках и переписке современников, далеко не располагает к нему, более того — зачастую отталкивает.

Брюсов всегда и неизменно предпочитает выглядеть магом, чародеем, мастером, что и создает дистанцию. Закрытость, «замундиренность» проникает даже в такой, казалось бы, интимный жанр, как дневник, который содержит множество самых разнообразных подробностей, но при этом никак не является исповедью. На его страницах мы находим любопытное признание: задавая себе вопрос, почему он мало записывал события, Брюсов отвечает: «Может быть, потому, что (...) успехов было мало, а о неудачах я писать не люблю. Совсем не то, что другие, которые выплакиваются в дневниках». Даже здесь он предпочитает выглядеть победителем, превращая дневник в летопись успехов, и лишь изредка сухо констатируя неудачи.

Такого же «победительного» Брюсова запечатлевает и его прославленный портрет, созданный Врубелем, ставший неотъемлемой частью образа поэта, как бы alter ego. В человеке, изображенном на нем, менее всего угадывается именно поэт: наполеоновская поза со скрещенными руками, застегнутый на все пуговицы сюртук, волевой и властный взор — все это как-то слабо вяжется с представлением об избраннике небес, во внешности которого мы ожидаем найти небрежность, порывистость — все то, что есть в известном портрете К. Бальмонта работы В. Серова, брюсовский портрет кажется более пригодным для государственного деятеля. Но Брюсов не просто ценил его, он им гордился, поскольку портрет создавал именно то впечатление, которого поэт добивался. «После этого портрета, —

признавался Брюсов, – мне других не нужно. И я часто говорю, полушутя, что стараюсь остаться похожим на свой портрет...» В этой усвоенной позе было, однако, что-то вызывающее и дразнящее, что пробуждало в современниках стремление стащить с пьедестала, на который еще при жизни ставил его портрет, и потому они не щадили поэта в статьях, ни в воспоминаниях. Все то, что мы узнаем из них о Брюсове, мало располагает в его пользу.

Самая последовательно-уничижительная характеристика принадлежала критику Ю. Айхенвальду. Она начиналась словами: «Брюсов — далеко не тот раб лукавый, который зарыл в землю талант своего господина: напротив, от господина, от господина, он никакого таланта не получил и сам вырыл его себе из земли упорным заступом своей работы...» Последние строки этой статьи звучали и вовсе как приговор: «...Если Брюсову с его тяжелой поэзией не чуждо некоторое величие, то это именно — величие преодоленной бездарности». Мнение это оказало влияние на многих, оно варьировалось в ряде статей с разными оттенками сочувствия, вплоть до М. Цветаевой, назвавшей Брюсова «героем труда». Итак, первое обвинение в адрес Брюсова состояло в том, что он всего-навсего труженик литературы, а не избранник небес, осененный свыше.

Другое обвинение касалось его вождистских наклонностей, которые также считались несовместимыми со званием истинного поэта.

Действительно, возглавляя ряд изданий и одну из главных издательских фирм русского символизма «Скорпион», Брюсов обладал большим влиянием, и современники не жалели сарказма, описывая его в роли вождя. «...Он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил, — вспоминал В. Ходасевич. — Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна».

Наконец, третье заключалось в несоответствии между ролью, которую пробовал Брюсов играть в символизме, и его истинным содержанием. Его пытались уличить в том, что «державный» образ никак не увязывается с купеческим происхождением. Особенно охотно подчеркивался контраст между европейцем, каким смотрелся Брюсов в редакции журнала «Весы» и издательстве «Скорпион», и купеческой обстановкой, которой он был окружен в частной жизни. Современники поэтому много и охотно описывали родительский дом на Цветном бульваре, где поэт прожил большую часть своей жизни. «Дом был небольшой, — вспоминал И. Бунин, — двухэтажный, толстостенный, — настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе (кстати, этот многократно описанный дом чудом уцелел до сегодняшнего дня).

Те же «третьей гильдии купеческие» черты выделял Бунин и во внешнем облике Брюсова: «Я увидел молодого человека, с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и широкоскуло-азиатской) физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно и высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным и не допускающим возражений». «Гостинодворческой» внешностью укорял Брюсова не только отпрыск старинного дворянского рода Бунин, но и куда менее родовитый В. Ходасевич, который вспоминал, что, впервые попав в дом Брюсовых, он увидел «скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке». Рассудочный поэт, которому трудолюбие заменяло вдохновение, третьей гильдии купец, тщившийся превратить себя в европей-

ца, с «самодержавными» замашками — вот, по существу, краеугольные камни личных портретов Брюсова — творческих и человеческих. Но странное дело — все эти «разоблачения» не только не открывали в Брюсове какие-либо черты, которые он пытался утаить, а, напротив, повторяли все то, что сказал о себе он сам, обращаясь к музе:

Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!

Нельзя нам мига отдохнуть,
Взрывавай земли сухие глыбы!
Недолог день, но длинен путь,
Веди, веди свои изгибы!

(В ответ, 1902)

Айхенвальд только сформулировал «внешность» брюсовской позиции, но понять и осмыслить ее не сумел. Дело ведь заключалось вовсе не в том, что Брюсов ощущал дефицит природного таланта, этого таланта было у него ничуть не меньше, чем у многих из тех, кем восхищались его современники, а в том, что Брюсов всю свою жизнь пытался преодолеть зависимость от порывов вдохновения, и именно об этом написано стихотворение «В ответ». И. Эренбург вспоминал признания Брюсова, что «он работает над своими стихами каждый день в определенные часы, правильно и регулярно. Он гордился этим, как победой над темной стихией души». Это новое отношение к своему ремеслу полемически заострилось Брюсовым не потому, что он чувствовал себя вовсе чуждым поэтической импульсивности, а потому, что он стремился движущие силы творчества подчинить порядку и размерности:

Люблю я линий верность,
Люблю в мечтах предел...

(«Люблю я линий верность...», 1898)

Если читатель со времен романтизма привык поклоняться в поэте любимцу небес, считать все жалобы на «муки слова» сопутствующим, но не главным в творческом процессе, то Брюсов пытался разрушить этот стереотип, выдвигая на первый план труд и муки. Его муза уже даже не «кнутом иссеченная муза» Некрасова, в которой читатель угадывал жертву общественного произвола. Муза Брюсова иссечена самим поэтом в воспитательных целях, дабы поэт творил независимо от внешних условий.

Эта новаторская установка стала главным источником предубеждения против брюсовских стихов: сжиться с поэтом, подобно пахарю, бредущим с каплями пота на челе за плугом, оказалось многим не по плечу, и они вместе с Айхенвальдом предпочитали составлять мнение о поэте по этим и подобным декларациям, а не по стихам.

Точно так же и вождизм Брюсова был не только реализацией заложенного в нем стремления властвовать, но и крестом, добровольно принятым на себя. На первый взгляд судьба Брюсова может показаться примером редкой удачливости, неустанного восхождения к славе и власти. 4 марта 1893 года гимназист Брюсов записывает в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало! Надо выбрать иное... Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я!» Через год появляются первый и второй выпуски его альманаха «Русские символисты», в 1895 — третий, и русский символизм выходит на литературную арену, а Брюсов

действительно становится затем одним из его признанных вождей. Но прежде чем восхищаться способностью Брюсова «найти путеводную звезду в тумане», следует учесть, что между появлением выпусков «Русских символистов» и утверждением Брюсова в качестве одного из мэтров символизма пролегал отрезок в несколько лет, в течение которых ему приходилось в одиночку выносить целый шквал журнальной и газетной брани. О том, что последовало за выходом альманаха, Брюсов вспоминал в автобиографии так: «Я был всенародно предан “отлучению от литературы”, и все журналы оказались для меня закрытыми на много лет, приблизительно на целый “люстр” (5 лет)». Правда, задним числом он находил этот урок полезным и считал отлучение «весьма благоприятным для себя. Оно не только позволило, но заставило меня работать вполне свободно: я не должен был приноравливаться ко вкусам редакторов, ибо все равно ни один из них не принял бы меня в свое издание, а ко вкусам публики мне было приспособляться бесполезно, ибо она все равно была уверена, что все, подписанное моим именем, — вздор. Я, так сказать, насильственно был принужден руководиться только своим личным вкусом, а что может быть полезнее для начинающего поэта?». Но даже и эта осознанная впоследствии польза не умаляет тяжести испытаний, через которые прошел он после шумного дебюта.

Хотя Брюсов не любил, как он выражался, «выплакиваться», но все-таки кое-какие признания проникли на страницы его дневников и писем. «Недавно “Семья”, — писал он 30 августа 1895 года, — ухитрилась еще раз предать проклятию Валерия Брюсова — сначала в беллетристическом произведении, а потом в заметке о зоологическом саде! Это уже своего рода виртуозность». Несколькими днями спустя: «Ругательства в газетах меня ужасно мучат... Однако анонимное письмо, полученное сегодня, доконало меня. Погиб». Почти на десятилетие имя Брюсова в глазах читающей публики стало неотделимо от его однострочного стихотворения «О, закрой свои бледные ноги!», а само это стихотворение, являющееся невинным подражанием античным одностишиям, с которыми он познакомился на первом курсе университета, стало своего рода эмблемой декадентства.

Появление первых сочувственных нот в отзывах на сборник «Tertia Vigilia» («Третья стража», 1900), и среди них заметки Горького, Брюсов встретил даже с некоторым удивлением: к доброжелательству он не привык. Но и по поводу этого сборника критика позволяла себе писать в таком тоне: «До сих пор г. Брюсов подвизался в сочинительстве всяких бессмысленных виршей, в которых он видел служение декадентству. Теперь, кажется, в первый раз <...> он пробует писать «как все», чем только наглядным образом выставляет свое литературное убожество и искаженную декадентскими кривляниями здоровую мысль...» Как видим, найденная «путеводная звезда» доставила начинающему поэту немало огорчений. И едва ли сумел бы он преодолеть предубеждение публики одиночными усилиями, издавая тоненькие сборники за свой счет, если бы перед новым искусством, сторонником которого он себя так шумно заявил, не открылись бы другие возможности, если бы оно не нашло себе мецената в лице Сергея Александровича Полякова. Этого богатого и просвещенного московского купца, математика по образованию, к новому искусству сумели привлечь друзья Брюсова — литовский поэт-символист Ю. Балтрушайтис и К. Бальмонт. На деньги Полякова было создано первое символистское издательство «Скорпион», в работе которого Брюсов принял самое деятельное участие. «Скорпион» сделался быстро центром, — вспоминал Брюсов, — который объединил всех, кого можно было считать деятелями «нового искусства», и, в частности, сблизил московскую группу (я, Бальмонт и вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой старших деятелей, петербургскими писателями, объединенными в свое время «Северным вестником» (Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Минский

и др.)». И вот только когда было создано первое символистское издательство, появилась возможность стать вождем нового направления. Но роль лидера и тогда имела мало общего с лаврами и венками из роз. В работу «Скорпиона» Брюсов вложил прежде всего изрядную долю неукротимой энергии и предприимчивости. Точно так же и выходящий с 1904 года журнал «Весы» был во многих отношениях плодом его усилий: «...Не было в журнале ни одной строки, которую я не просмотрел бы как редактор, и не прочитал бы в корректуре. Мало того, громадное число статей, особенно начинающих сотрудников, было мной самым тщательным образом переработано, и были случаи, когда правильнее было бы поставить мое имя под статьей, подписанной кем-нибудь другим». Прежде чем стать вождем, Брюсов добровольно возложил на себя всю тяжесть огромной организационной черновой работы. А Белый вспоминал, что в редакции «Весов» впервые ему «открылась остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; ...Брюсов — трудился до пота, сносясь с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции, варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типографии и принимал в «Скорпионе», чтоб... Блок мог печататься. Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт».

Разумеется, было бы явным преувеличением видеть в этом проявление брюсовского альтруизма, роль эта отвечала природному стремлению руководить делом. «Брюсову хотелось создать «движение» и стать во главе его, — справедливо подчеркивал Ходасевич. — Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это ложилось преимущественно на Брюсова». Тем не менее, говоря о «самодержавии» Брюсова, нельзя забывать и о том, что оно сопрягалось с ответственностью за «державу» символизма, которую он блестяще организовал на этапе наступления.

В символизме он не столько нашел «путеводную звезду в тумане», сколько помог этой звезде выйти из тумана.

Наконец, остановимся на пресловутом «гостиннодворчестве» Брюсова. О своих корнях поэт лучше всех написал сам, ощущая кровную связь с миром, из которого вышел:

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,
Как сон непонятый и прерванный, как бред...
Я берегу его — единое наследство
Мной пережитых и забытых лет.
Я помню формы, звуки, запах... О! и запах!
Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий.
Лежащий без теней в ленивой тишине...

(Поэма «Мир», 1903)

Картину, нарисованную здесь, только дополняют рассказы о сохранявшейся и в эпоху максимальной «европеизации» Брюсова привычке по вечерам играть в преферанс и в винт с родителями, о приверженности к домашним пирогам с морковью, вообще о верности бытовому укладу, привычному с детства. В обстановке родительского дома сам Брюсов не чувствовал ничего противоречащего своим литературным пристрастиям и интересам: устойчивый и размеренный быт его вполне устраивал. В пределах этого дома он с детства сумел добиться независимости и собственную жизнь организовывал всегда так, как считал нужным.

Начав с 1910 года жить собственным домом, Брюсов придал ему несколько более современный вид, но и в этом новом жилище, так же как и в кабинете дома на Цветном бульваре, господствовал не столько какой-либо особенный стиль, а то, что составляло смысл жизни хозяина — книги, книги, книги...

Брюсову нечего было стыдиться своего купеческого происхождения. «Гостинодворцы», «лабазники» были в XX веке далеко не те «тит-титычи», «дикие» и «кабанихи», которых мы запомнили по пьесам Островского, они имели не меньше заслуг перед русским искусством, чем дворянство в XIX веке, особенно если учесть короткий исторический промежуток, отпущенный им до революции. Щукин, Третьяков, Морозов, Рябушинский — вот далеко не полный перечень тех деятелей отечественной культуры, которых тоже можно назвать и гостинодворцами и даже охотнорядцами, не говоря о К. Станиславском и А. Чехове, также выходцах из купеческой среды.

Что касается Брюсова, то он многим был обязан среде, из которой происходил. Отец Брюсова, Яков Кузьмич, купец незадачливый, увлекавшийся идеями шестидесятых годов, воспитание своего первенца Валерия стремился построить на самых рациональных основах — к ребенку не приглашали няnek, чтобы уберечь от сказок, вымыслов и веры в чудесное. Напротив, в нем всячески культивировали реалиста и атеиста. Правда, приверженность прогрессивным педагогическим идеям не помешала отцу приохотить ребенка чуть ли не с детства к скачкам, и библиография будущего поэта начинается заметкой «Несколько слов о тотализаторе».

Брюсов взращен был в атмосфере, где новые веяния уживались с традиционным купеческим укладом и все это дополнялось полной свободой. Поэтому в его судьбе отсутствует мотив «бегства» от своей среды, то, что Чехов назвал «выдавливанием из себя раба». Эта среда не обременяла своими традициями, родители никогда не вникали в литературные занятия сына, и, например, весь скандал, которым был окружен его альманах «Русские символисты», вообще прошел как бы мимо них. Вспомним, что Андрею Белому отец — профессор математики Н.В. Бугаев — запрещал печатать куда менее скандальные произведения под собственной фамилией, и поэту пришлось выбрать псевдоним.

Хотя родители Брюсова сами не были людьми высокообразованными, своим детям они сумели дать прекрасное по тем временам образование. Брюсовская жажда знания, интерес к мировой культуре сочетались в его судьбе и с возможностью пользоваться наставничеством прекрасных педагогов, о чем позаботился его отец. Сначала (1884–1889) он учился в частной гимназии Креймана, а затем продолжил обучение в лучшей по тем временам классической гимназии Поливанова, учениками которой в разное время были и Вл. Соловьев, и А. Белый, и дети Л. Толстого. Пребывание в этой гимназии пробудило в нем литературные интересы, поливановской гимназии он обязан любовью к Пушкину, прекрасным знанием русской классической литературы. По окончании гимназии Брюсов продолжил свое образование в университете (1894–1899), проучившись один год на отделении классической филологии, а затем переменяв его на историческое.

Семья обеспечила Брюсову и определенную финансовую независимость — после получения наследства деда ему была выделена часть капитала, благодаря которой поэту никогда не приходилось опускаться до литературной поденщины. Этим объяснялось отсутствие в писательской психологии Брюсова черт литературного разночинства. Так что среда, из которой он вышел, дала ему большую жизненную устойчивость.

Таким же источником душевного комфорта стала для Брюсова и собственная его семья. «Маленькая, незаметная женщина», какой обычно описывали его жену Иоанну Матвеевну, при всех сокрушительных романах, которые время от времени потрясали его жизнь, была и оставалась самым близким человеком, хранительницей домашнего очага, секретарем и верной помощницей в делах. Язвительная Зинаида Гиппиус называла ее за это «вечной» женой — «так тихо она покоилась на уверенности, что уж как там ни будь, а уж это

незыблемо: она и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется в конце концов с ней».

Итак, Брюсов отнюдь не смущался своим «гостинодворчеством». Так же он не скрывал и своего стремления к лидерству в новом искусстве. Ибо вождизм Брюсова был результатом не честолюбия, а проистекал из убеждения, что любое дело, пробивающее себе дорогу, отстаивающее свое право на существование, требует единовластия. Но Брюсов первый выпустил вожжи, став одним из инициаторов закрытия журнала «Весы», когда символизм упрочил свою репутацию настолько, что у его сторонников появилась возможность печататься в других изданиях, когда организационное объединение потеряло свой смысл. «Самодержавным» его делали интересы движения, и как только они исчерпали себя, он тут же провозгласил себя «простым слагателем стихов».

Чем больше мы вникаем в действия и поступки Брюсова, пытаюсь пробраться сквозь пристрастные суждения к мотивам его поведения, тем больше открываем в нем не человека с дурным характером и наклонностями, а нового человека, мысли и стремления которого имели мало общего с тем, что мы привыкли приписывать истинному поэту.

Если пытаться найти то, что составляло стержень всей его жизни, определяло своеобразие и новизну деятельности на самых разных поприщах — издательском, критическом, поэтическом, историко-литературном, то искать его надо в неустанном стремлении поэта подчинить каждый свой шаг и каждый свой творческий импульс зову вечности. «Немногие для вечности живут», — скажет позднее Мандельштам. Брюсов безраздельно принадлежал к числу этих немногих и не хотел этого скрывать:

Нам кем-то Высшим подвиг дан
И властно спросит он отчета...

(В ответ, 1902)

Может быть, поэтому мысль и мечта Брюсова вращались в кругу великих людей: героев, полководцев, поэтов — всех тех, кто сумел прославить себя в поколениях, в кругу тех, кого он называл «любимцами веков». В этот пантеон он и сам мечтал войти после смерти, войти величественно, как творец, оставаясь достойным этой славы.

Оттого всю жизнь Брюсов был обуреваем гигантскими замыслами, непосильными для простого смертного. Самым выразительным в этом плане следует назвать задуманный им цикл «Сны человечества», в стихах которого Брюсов собирался дать образцы — не переводы, а именно подражания и образцы — поэзии всех времен и народов. Кому? зачем? возможно ли вообще одному поэту осмыслить и передать все это многообразие стилей, форм и мироощущений? — таких вопросов для Брюсова, загнипнотизированного величием замысла, просто не существовало.

«Юность моя — юность гения, — записал он в дневнике в 1898 году. — Я жил и поступал так, что оправдать мое поведение могут только великие деяния. Они должны быть, или я буду смешон. Заложить фундамент для храма и построить заурядную гостиницу. Я должен идти вперед, я принял на себя это обязательство». И он пытался строить именно храм, завоевав и освоив одну область, спешил завоевывать другие, и так до бесконечности. Целью же всех этих стремлений являлось то, о чем он сказал В. Ходасевичу в день своего тридцатилетия: «Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут».

Отличительной особенностью Брюсова являлась многосоставность его внутреннего мира, проистекавшая из отсутствия в нем потребности примирять одну часть души с другой. «Я — это такое сосредоточие, где все противоречия гаснут», — скажет он по этому поводу. Личность Брюсова не просто гасила противоречия, но даже как бы

не подозревала об их существовании. В письмах периода русско-японской войны он писал: «Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке, Великий Океан — наше озеро, и ради этого “долга” ничто все Японии, будь их десяток! Будущее принадлежит нам, и что перед этим не то что всемирным, а космическим будущим — все Хокусаи и Оутомары вместе взятые». И это высказывание человека, который в своих художественных вкусах и пристрастиях был убежденным космополитом, а основной целью своего детища, журнала «Весы», считал пропаганду именно мирового искусства, и в первую очередь связанного с модернизмом. Искусство являлось для него единой областью развития, не знающей границ, и все последние достижения он считал необходимым немедленно внедрять и прививать к русской поэзии. Если Брюсов много говорил о том, какое значение для его творческого развития имели Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, то не меньшее значение для него имели и Верлен, и Верхарн, и Э. По. Мысль о национальном своеобразии, о национальной преемственности русской литературы как-то вообще не входила в систему брюсовских воззрений на искусство.

Это был не плюрализм — поскольку плюрализм предполагает сосуществование, основанное на осознании собственной разности. Брюсов просто этой разности не замечал. Каждое из убеждений находилось в своей плоскости, которые не пересекались. В брюсовском мировосприятии не было единого центра, связывавшего воедино все составные части. Оно не было монистичным в своей основе, не обладало той непреложной истиной, которая задавала бы единицы измерения.

Может быть, поэтому Брюсов был абсолютно безрелигиозен. Правда, был в его жизни краткий период, когда, будучи секретарем учрежденного Мережковскими журнала «Новый путь», заинтересовался их неохристианством, но период этот был кратковременным.

Известен вопрос, которым он в свое время буквально ошарашил А. Белого: «Как вы считаете, Христос пришел на землю ради одной планеты или ради Вселенной?» Но если для Белого этот вопрос стал поводом для мучительных раздумий, длившихся целую жизнь, то для Брюсова это как бы логическая задача вроде тех, которые помещены в учебнике по логике. Трудно найти равного ему по силе неверия «ни в сон, ни в чох, ни в смертный грай». Брюсов мог написать, например:

И Господа, и Дьявола
Хочу прославить я...

(З. Н. Гуннуис, 1901)

не чувствуя противостояния между тем и другим, не видя никакой необходимости выбирать — ведь и тот и другой были потенциальными темами стихов. Напротив, Брюсова влекло все, в чем ощущалась хотя бы видимость тайнодействия, влиятельности, использование которой утоляло бы кипевшую в нем жажду познания. Самым ранним в ряду увлечений такого рода был спиритизм, позднее заинтересовался он оккультными науками, черной магией, во всем этом он видел новые области изучения. Известно его высказывание: «Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике подобно пару и электричеству». По иступленной вере в человеческие возможности Брюсов не имел равных среди поэтов начала XX века, здесь рядом с ним можно поставить разве что Горького.

Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя...

В этом юношеском признании звучит почти безграничная вера в собственные человеческие силы, и она отчасти оправдалась.

Поэзия Брюсова является новаторской, во многом непривычной для слуха. Эта новизна связана, разумеется, с его принадлежностью к символизму, но полностью не сводима к этому. Другим поэтам полнее и ярче удалось выразить эстетические

устремления этого течения. В творчестве А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова мы находим более яркие образцы символистской лирики, реализующие его теоретические установки. Символ как многозначная конструкция, предполагающая множественность истолкований, вообще не характерна для стихов Брюсова. Точно так же и познавательные возможности символа никогда не занимали его ни в теории, ни в поэтической практике. И все-таки точки соприкосновения с исканиями символистов у него несомненно были.

Брюсов принадлежал к старшему поколению символистов — З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, А. Добролюбов, — выступившему на литературную арену разрозненными кружками в 90-х годах XIX века. Объединяющим началом для этих поэтов был исповедуемый ими, отчасти под влиянием философии Ницше и Шопенгауэра, индивидуализм, а также ориентация на поэтику французского символизма, поэтику намеков, неясных и неоформленных настроений, сходную с импрессионизмом в живописи. В ранних стихах Брюсова ощутимо влияние стиля и поэтики импрессионизма, цель которого, как писал он в одной из своих деклараций, «рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение». Яркий пример такого рода — знаменитое стихотворение Брюсова «Творчество» («Тень несозданных созданий...»). Индивидуалистические установки Брюсова ярко запечатлены в его стихотворении «Юному поэту».

Однако своеобразие эстетической системы Брюсова, определявшее то «лица необщее выражение», которое несомненно было у его музыки, заключалось не в том, что роднило его с символистами. Брюсов принес в русское искусство и утвердил в своем творчестве совершенно своеобразное понимание искусства и его задач: для него это была область духовной деятельности, автономная от политики, общественности, свободная от каких-либо утилитарных целей и задач. Поэзия, по мысли Брюсова, развивается по своим особым законам, и это развитие проявляется прежде всего в обновлении поэтических приемов, метафор, рифм, сравнений, то есть в ее постоянном формальном обновлении и обогащении. В поэзии Брюсов ценил первопреходчество, завоевание новых и неизведанных областей. Вера в новизну как единственную подлинную ценность поэзии была столь велика, что он неоднократно пытался «обновлять» собственные стихи при переизданиях, поскольку ему казалось, что на фоне очередных новаторских достижений они теряют свою действенность, нуждаются в «омоложении».

Творчество Брюсова было построено на новаторстве как таковом, на идее непрерывного обновления изобразительного арсенала, на освоении новых тем, на исчерпании существующих, разработке новых жанров, использовании новых стиховых форм. Именно это составляет основу его творческого метода. «Смотрю на свое прошлое исторически, еще раз “меняю кожу” и намерен появиться (если не умру) в образе новом и неожиданном», — писал он К. Чуковскому после выхода очередного сборника. В своем развитии он всегда шел «от достигнутого». Традиция существовала для Брюсова не как совокупность идей, не как единое разрабатываемое в веках духовное направление, а как совокупность открытий предшественников, которые надо было превзойти.

С этим стремлением к постоянному изменению связана и излюбленная Брюсовым смена личин: большинство его стихов строится именно как монолог от имени разнообразных людей — реально существовавших и вымышленных, но никак не от лица автора. Любовь к перевоплощениям была у Брюсова так велика, что при всем благоговении, которое он испытывал к Пушкину («Выбери себе героя — догони его, обгони его», — говорил Суворов. Мой герой — Пушкин», — признавался Брюсов), именно ему принадлежала кощунственная и нелепая попытка завершить за Пушкина «Египетские ночи». Брюсов верил, что тщательным изучением можно вжиться в чужой внутренний мир, до полной идентификации, точно так же как изучением словаря, рифмовки и других стихотворных особенностей можно начать думать и писать за Пушкина. Мало того, по воспоминаниям Язвицкого, Брюсов подумывал даже о том, чтобы опубликовать продолжение как

новонайденный текст Пушкина за его подписью. Кстати, единственным, кто сочувственно встретил это «продолжение», был М. Горький.

Наконец, еще одной характерной особенностью Брюсова является то, что в нем поэт сосуществовал с литературоведом, который бдительно следил за тем, чтобы творческая деятельность поэта развивалась в строгом соответствии с заданной схемой. Именно поэтому так настойчиво твердил он о своей способности смотреть на себя исторически. Историко-литературное чутье объективно было присуще Брюсову, точно так же как и литературный вкус. Об этом говорит его поистине замечательная книга «Далекие и близкие», сборник статей о поэтах-современниках, поразительных по сжатости и точности характеристик.

На основании этих и других критических и историко-литературных статей многие его коллеги склонны были абсолютизировать его литературоведческие таланты. Например, Ф. Батюшков писал: «Я уверен, что Брюсов мог бы написать отличный этюд о самом себе. У него есть для этого все данные <...>. Способность объективизироваться в нем очень развита».

Брюсов и сам свято верил в свою способность оценивать свои достижения со стороны. Каждый свой новый сборник он сопровождал предисловием, где объяснял, какой смысл имеет он для его развития, каков обиход замысел, какие художественные задачи решаются в нем. Неоднократно писал Брюсов и о связи своих изданий, создав, таким образом, еще при жизни миф о своем творческом пути. Брюсов даже вслед за Державиным и Пушкиным написал собственное стихотворение «Памятник». Правда, в отличие от пушкинского «Памятника», найденного Жуковским после смерти поэта, Брюсов свой опубликовал еще за восемь лет до смерти, в сборнике «Семь цветов радуги» (1916):

Ликуя назовут меня — Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говоря...

Но роковым образом именно после этого сборника, со страниц которого Брюсов провозгласил свое вхождение во всемирный пантеон, поэтическая слава начинает неостановимо клониться к упадку. Как воссоздавая «подлинного» Пушкина, так и добиваясь перманентного обновления, Брюсов сильно преувеличил свои возможности. Постепенно «омолаживание» стихов принимало все более и более противоестественный характер. Творческий процесс превращался в опыты по стихосложению, стихи переставали восприниматься как что-то адресованное читателю, становились экспонатом, демонстрирующим современные достижения в области метрики, ритмики и т. п.

Последние сборники Брюсова трудны для восприятия и даже среди любителей поэзии находили все меньше читателей. И дело здесь не столько в ложности пути, на который направлял поэта сидящий в нем литературовед, сколько в том, что все имеет свой предел. Брюсов-труженик, подчинивший свое вдохновение планомерной работе, точно так же начал с определенного момента повторять себя, как и «стихийный гений» Бальмонт. Постигая сегодня Брюсова, мы на каждом шагу открываем новое и непривычное для себя. Мы не находим в поэте ни высокого морального образца, ни подвижника, отдающего себя на заклатие, ничего такого, что делало бы его идеалом. С человеком, которого мы открываем, не всегда можно согласиться, мы легко замечаем и не хотим принять внутренней противоречивости, что была так свойственна поэту. Точно так же нелегко нам сегодня оценивать Брюсова сквозь призму его новаторских устремлений: читатели разнообразных поэтических школ, мы не всегда в состоянии уловить его первопродческие заслуги, его вклад в развитие русского стиха. И грандиозные замыслы, одолевавшие поэта, вызывают скорее недоумение, чем восторг. Литературоведческий миф, созданный поэтом, не выдержал проверки временем, все, с чем связывал он свои упования, мечтая войти в пантеон мировой славы, обмануло поэта.

Не идейные позиции и не формальные изыскания и достижения определяют место Брюсова в истории русской поэзии. Для нас он является прежде всего автором замечательных стихов — строгих, благородно-торжественных, порой даже риторичных,

поэтом, принесшим в русскую поэзию то, что Мандельштам назвал «мужественным подходом к теме», способностью придать своей теме сюжетность и законченность на небольшом пространстве стихотворения.

Стремясь сегодня проникнуть сквозь наслоения и легенды в круг идей и чувств этого незаурядного человека, мы пытаемся в первую очередь открыть в нем того поэта, чьи стихи дали повод А. Блоку воскликнуть в письме к А. Белому: «Это — Бог знает что... Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем Вы, об этой книге. Долго просижу еще над ней, могу похвастаться и поплясать по комнате, что не всю еще прочел, не разглядел всех страниц, не пронзил сердце всеми запятыми». Этот Брюсов и есть тот поэт, который сегодня по праву занимает место на золотой полке русской поэтической классики.

